

Часы бьют восемь — поворачивается начищенная до блеска ручка двери, Павел Михайлович Третьяков, первый посетитель, вступает из внутренних комнат дома в зал своей галереи. Всегда ровно в восемь, после всегдашнего утреннего кофея, и если бы часы вдруг перестали отсчитывать и отбивать время, можно, заведя их, поставить стрелки по этому бесшумному, но мгновенно улавливаемому служителями повороту медной ручки. Всегда в костюме одинакового цвета и покроя (будто всю жизнь носит один и тот же), прямой, суховатый, даже как бы несколько скованный в движениях, он шествует размеренной, чуть деревянной походкой вдоль густо завешанных картинами стен — служители следом, — останавливается, сосредоточенно, будто впервые, рассматривает до последнего мазка знакомое полотно — и неожиданно: «Перова — во второй ряд возле угла». Из-под кустистой брови взглянет быстро жгучим глазом в удивленное лицо служителя: «Я во сне видел, что картина там висит, — хорошо...»

А за окном, под набежавшим ветерком, шепчется густая листва вековых лип и тополей, пьяно благоухают тяжелые гроздья сирени, готовы взорваться роскошным цветком тугие бутоны махровых пионов. И там же, за окном, на широкий, устланный камнем двор въезжают ломовики, груженные льняными товарами с Костромской мануфактуры Третьяковых, — плотные кипы складывают в амбары.

В девять Павел Михайлович покидает галерею и, пройдя по двору, скрывается за дверь с маленькой вывеской «Контора». Девять конторщиков, увидя его, громче и старательнее щелкают костяшками счетов: «Доставлено товаров...», «Передано в магазины...», «Продано...» Павел Михайлович усаживается поудобнее за свою конторку — с девяти соседних к нему сходятся бесконечные столбики цифр, чтобы быть суммированными и разнесенными по графам: «Развитие производства», «Жалованье рабочим», «Покупка картин...» Его счета, покрывая перещелк остальных, нечасто и размеренно отстукивают пяти- или шестизначную цифру (так ровные, степенные удары главного колокола побивают шустрый перезвон малых колоколов).

С двенадцати до часу — завтрак, к трем — в Купеческий банк, оттуда в магазин на Ильинке, к шести его ждут обедать. В экипаже Павел Михайлович открывает журнал — он любит читать дорогою, — но часто книга отложена в сторону: возле Третьякова, на сиденье или стоймя у ног его, нежно придерживаемая им, свернутая рулоном или натянутая на подрамник картина — «самое дорогое» (он говаривал). Родные и служащие поздравляют с покупкой, когда он, передавая полотно в их бережные руки, вылезает из коляски; все радостно возбуждены, и по серьезному лицу Павла Михайловича (домашние называют его «неулыба») пробегает тень улыбки, и за обедом, который у него тоже почти всегда один и тот же («А мне щи да кашу»), он объявляет, что сегодня все едут в театр или в концерт, слушать музыку. Если же в такой вечер нагрянут гости, Павел Михайлович без сожаления покидает свой молчаливый кабинет, заваленный книгами и журналами, свой излюбленный маленький, почти квадратный диванчик, на котором длинноногий хозяин притуливается, свернувшись калачиком, и радушно идет навстречу гостю. С художником Павел Михайлович троекратно целуется, ведет показывать бесценное приобретение, обычно молчаливый, занимает его беседой и просит супругу, Веру Николаевну, сыграть для дорогого гостя на рояле, и угощает хлебосольно — только вина в доме почти не подают: Павел Михайлович вина не пьет. А на следующее утро, ровно в восемь, выйдя из внутреннего покоя в зал галереи, Павел Михайлович отдает служащим распоряжение насчет рамы для новой картины, указывает, куда ее повесить: «Я всю ночь думал...»

Мало кто знает, да и вряд ли кто узнает когда-нибудь, как долго и упорно добывается иной раз Павел Михайлович заполучить в свое собрание примеченную картину, но такой у Третьякова характер: не подумав, шагу не ступит, а обдумал все, решил — своего добьется. Сосредоточенный и молчаливый, он появляется на открытии выставок, в Москве, в

Петербурге, на лице ничего не прочитаешь; кажется — пока лишь прислушивается к расхожим мнениям, но решение уже принято, неуклонное: картины еще не развесили в выставочных залах, а он успел побывать в мастерских, узнал, кто чем занят, взял на заметку, приценился и, еще раньше, из писем знакомых художников, действовавших по его просьбе или самостоятельно, вычитал необходимые сведения и мысленно составил для себя некий чертеж того, что творится ныне в российском искусстве. Он всех обгоняет и от своего не отступает никогда; даже царь, подойдя на выставке к облюбкованному полотну, узнает подчас, что «куплено г-ном Третьяковым».

Когда речь о «самом дорогом», для Третьякова собственная цель — наивысшая, собственные желания — закон; но цель его величественна — собрать для общества лучшие творения отечественной живописи, а желания необыкновенно удачны: «Это человек с каким-то, должно быть, дьявольским чутьем», — почти в сердцах обронил как-то про Третьякова Крамской.

(В.И. Порудоминский)